**Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге**

Дневник? Да нет! Скорей, записки, заметки, воспоминания — верней, физиология (забытый жанр, в котором беллетристика сочетается с публицистикой, социологией, психологией, чтобы полней, да и доступней описать некий социальный срез). И вот герой уже едет в поезде, мчащем его из российской провинции в российскую столицу, вагон полон таких же, как и он, провинциалов, и сетует провинциал, что нигде от провинции не укрыться (даже на постой губерния устраивается в одну и ту же гостиницу), размышляет, кой черт его дернул перекочевать в Петербург, ибо ни концессий на строительство железных дорог, ни прочих неотложных дел нет у него и в помине.

Однако среда, как известно, засасывает: все бегают по министерствам и ведомствам, и герой начинает бегать если не туда же, так хоть в устричную залу к Елисееву, на эту своеобразную биржу, где мелькают кадыки, затылки, фуражки с красными околышами и кокардами, какие-то оливковые личности — не то греки, не то евреи, не то армяне, — анемподисты тимофеичи, вершащие суд да дело за коньяком, балыком, водочкой. Круговорот суетливо-делового безделья засасывает: все стремятся в театр поглазеть на заезжую актриску Шнейдер — и наш туда же… Жуируют, пустословят, а все угнетает мысль, будто есть еще нечто, что необходимо бы заполучить, но в чем состоит это нечто — вот этого-то именно герой сформулировать и не может. Невольно он припоминает своего дедушку Матвея Иваныча, который и жизнью жуировал — полицию наголову разбивал, посуду в трактирах колотил, — и в мизантропию не вдарялся. Правда, внук додумывается до того, что тоскует он, потому как не над кем и не над чем повластвовать, хоть и жаль ему не крепостного права, а того, что, несмотря на его упразднение, оно еше живет в сердцах наших.

Приятель провинциала Прокоп не дает ему расслабиться: протаскивает беднягу по всем кругам и обществам, где проекты пишут (нынче прожекты эти в моде, все их пишут — один о сокращении, другой о расширении, иной о расстрелянии, сякой о расточении, ведь всякому-то пирожка хочется). «Народ без религии — все равно что тело без души <…> Земледелие уничтожено, промышленность чуть-чуть дышит, в торговле застой <…> И чего цееремониться с этой паскудной литературой? <…> Скажите, куда мы идем?» — демократические круги чрезвычайно озабочены судьбою родины. Что же касается расстреляния, то небесполезно подвергнуть оному нижеследующих лиц: всех несогласномысляших; всех, в поведении коих замечается отсутствие чистосердечия; всех огорчающих угрюмым очертанием лица сердца благонамеренных обывателей; зубоскалов и газетчиков — и только. С раута на раут, от одного общества либерально-испуганных людей к другому, пока провинциал с Прокопом не напиваются до чертиков и ночуют, милости ради, на квартире помощника участкового надзирателя. Нет, видно, без дедушкиной морали никуда не деться: только одно средство оградить свою жизнь от неприятных элементов, — откинув сомнения, снова начать бить по зубам. И в оцепенении герой задумывается: неужели и в новейшие прогрессивные времена на смену уничтожительно-консерватив-ной партии грядет из мрака партия, которую уже придется назвать науничтожательнейше-консервативнейшею?

Итак, начитавшись проектов, преимущественно сочинения Прокопа (о необходимости децентрализации, о необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств, о переформировании де сиянс академии), провинциал впадает в состояние каких-то особенно тревожных и провидческих сновидений. Ему снится, что он одиноко умирает в меблированных комнатах, нажив на откупщичестве миллион рублей. И тут автор описывает, как душа покойного наблюдает за разграблением нажитого. Все, что мог, — от ценных бумаг до батистовых платков — стащил закадычный друг Прокоп. А в родовой усадьбе при деревне Проплёванной сестрицы Машенька и Дашенька, племянницы Фофочка и Лёлечка, елейными голосами поминая покойника, думают, как бы перетянуть друг у друга куски наследства.

Промелькнули годы — и вот уже постаревший Прокоп живет под гнетом шантажиста Гаврюшки, бывшего номерного, который видел, как барин в чужое добро руку запустил. Приезжает адвокат, зачинается дело, страж закона пытается урвать с Прокопа свои законные, и только из-за несговорчивости обоих все доходит до суда. Прокоп выигрывает свое дело, поскольку резон российских заседателей — свое да упускать! этак и по миру скоро пойдешь! После такого сновидения герою хочется лишь одного — бежать! Да куда? Из провинции в столицу уже бежал, не обратно же возвращаться…

Провинциал устремляется к своему старинному приятелю Менандру Перелестнову, который еще в университете написал сочинение «Гомер, человек и гражданин», перевел страницу из какого-то учебника и, за оскуднением, стал либералом и публицистом при ежедневном литературно-научно-публицистическом издании «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница». Вообще-то нашего героя нельзя назвать чуждым литературному труду: экземпляр юношеской повестушки «Маланья», из крестьянской жизни, отлично переписанный и великолепно переплетенный, и доднесь хранится у провинциала. Друзья сошлись на том, что нынче легко дышится, светло живется, а главное — Перелестнов обещает ввести товарища в почти тайный «Союз Пенкоснимателей». Герой знакомится с Уставом Союза, учрежденного за отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, а вскоре и с самими его членами, в основном журналистами, сотрудниками различных изданий, вроде «Истинного Российского Пенкоснимателя», «Зеркала Пенкоснимателя»,

«Общероссийской Пенкоснимательной Срамницы», где, кажется, под разными псевдонимами один и тот же человек полемизирует сам с собой. А так… кто из этих пенкоснимателей занимается родословной Чурилки; кто доказывает, будто сюжет «Чижика-пыжика» заимствован; кто деятельно работает на поддержание «упразднения». Словом, некомпетентность пенкоснимателей в вопросах жизни не подлежит сомнению; только в литературе, находящейся в состоянии омертвения, они могут выдавать свой детский лепет за ответы на вопросы жизни и даже кому-то импонировать. При этом литература уныло бредет по заглохшей колее и бессвязно бормочет о том, что первым попадает под руку. Писателю не хочется писать, читателю — читать противно. И рад бежать, да некуда…

Однако главнейшим событием для провинциала, после погружения в мир пенкоснимателей, стала мистификация VIII международною статистического конгресса, на который слетаются заатлантические друзья, дутые иностранцы; легковерные же русские делегаты, среди которых Кирсанов, Берсенев, Рудин, Лаврецкий, Волохов, их кормят-поят, устраивают экскурсии, собираются показать Москву и Троице-Сергиеву лавру. Между тем на рабочих заседаниях выясняется, по каким статьям и рубрикам в России вообще возможно проводить статистические исследования. Наконец, любовь россиян пооткровенничать с иностранцами, полиберальничать перед европейцами приводит к, казалось бы, неизбежному завершению: весь конгресс оказался ловушкой, чтобы выяснить политические взгляды и степень лояльности господ российских делегатов. Их переписывают и обязывают являться на допросы в некое потайное место. Теперь смельчаки и фрондеры готовы друг друга заложить, да и сам себя каждый разоблачает, лишь бы выказать свою благонадежность и отмазаться от соучастия уж Бог знает в чем. Кончается все обычным свинством: у подследственных вымогают хоть сколько-нибудь денег, обещая тотчас прекратить дело. Вздох всеобщего облегчения… Впрочем, по многочисленным ляпам и оговоркам давно пора было бы догадаться, что это глупо-грубый розыгрыш с целью поживиться.

Оробевший провинциал сидит дома и с великой тоски начинает строчить статейки; так свободная печать обогащается нетленками на темы: оспопрививание; кто была Тибуллова Делия? геморрой — русская ли болезнь? нравы и обычаи летучих мышей; церемониал погребения великого князя Трувора — и длинный ряд других с тонкими намеками на текущую современность. И снова, как наваждение, надвигается на провинциала сонная греза о миллионе, о собственной смерти, о суде над проворовавшимся Прокопом, чье дело, по кассационному постановлению, решают разбирать поочередно во всех городах Российской империи. И снова неприкаянная душа летает над окаянной землею, над всеми городами, в алфавитном порядке, наблюдая повсеместно триумф пореформенного правосудия и вальяжную изворотливость Прокопа, радуясь неумолкаемому звону колоколов, под который легко пишутся проекты, а реформаторские затеи счастливым образом сочетаются с запахом сивухи и благосклонным отношением к жульничеству. Сестриц же навешает в Проплёванной молодой адвокат Александр Хлестаков, сын того самого Ивана Александровича. Он перекупает право на все наследство за пять тысяч наличными. Душа провинциала переносится в Петербург. Александр Иванович обдумывает, где найти совершенно достоверных лжесвидетелей, чтобы завалить Прокопа? Лжесвидетелей находят, да только тех, которых подсунул сам Прокоп, чтобы надуть новых родственников провинциала. Его душа снова переносится в самый конец XIX в. Прокоп все еще судится, с триумфом выиграв в ста двадцати пяти городах, раздав на то почти весь украденный миллион. Между тем прогрессивные перемены в царстве-государстве необычайные: вместо паспортов введены маленькие карточки; разделения на военных и статских не существует; ругательства, составлявшие красу полемики 70-х гг., упразднены, хотя литература совершенно свободна… Пробуждается герой в… больнице для умалишенных. Как туда попал, не помнит и не ведает. Одно утешение — там же сидят оба адвоката Прокопа и Менандр. Тем и завершается год, проведенный провинциалом в Петербурге.

В желтом доме, на досуге, герой подводит итоги всему увиденному-услышанному, а главным образом, разбирает, кто же такие эти «новые люди», которых он познал в столице. Тут до него доходит, что «новые люди» принадлежат к тому виду млекопитающих, у которых по штату никаких добродетелей не полагается. Люди же, мнящие себя руководителями, никак повлиять на общее направление жизни не в силах по одному тому, что, находясь в лагере духовной нищеты, они порочны. От среднего человека тоже ждать нечего, ибо он — представитель малочувствительной к общественным интересам массы, которая готова даром отдать свои права первородства, но ни за что не поступиться ни одной ложкой своей чечевичной похлебки. И винит себя провинциал как новоявленный либерал, что на новые формы старых безобразий все кричал: шибче! наяривай!

Итак, одним из итогов дневника провинциала становится осознание жизненной пустоты и невозможности куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную роль. И напрасно провинциальная интеллигенция валом валит в Петербург с мыслью: не полегче ли будет? не удастся ли примазаться к краешку какой-нибудь концессии, потом сбыть свое учредительное право, а там — за границу, на минеральные воды…